

В недавней беседе со мной замечательный критик и писатель Валентин Яковлевич Курбатов заметил, что у каждого человека свой "золотой век". У нас с Тимуром Зульфикаровым "золотой век" — это наша молодость, наши 60-е, 70-е годы. Могут сказать: как же, в это время Хрущёв закрывал церкви, была эпоха застоя, не давали ездить за границу. Век и его "позолоченность" определяются нашим отношением к миру и нашим его восприятием. Я не могу сказать, что мы в молодости были наивными, но каждый день обещал нам интересные дела, встречи, открытия, открытия, мы жили действительно счастливой жизнью. У нас не было нормальных средств к существованию: мы жили от получки до получки, а получка, как правило, укладывалась в 100-150 рублей; на какие-то случайные заработки в издательствах, на телевидении, причём заработки эти тоже определялись суммами в тридцать, сорок рублей, на которые можно было с друзьями или с девушкой отправиться в любой ресторан — если хочешь, в буржуазный типа "Метрополя"; хочешь — в демократический: ВТО, Дом кино или кафе "Националь". Общение с людьми для меня и для Тимура было необходимым, потому что мы проверяли на этих людях правильность наших мыслей, ловили мысли этих людей. Россия тогда действительно была читающей страной! Когда я ехал по утрам в университет или на работу, — в вагоне сидели люди и читали книги. Причём книги были самые разные: классика русская и зарубежная, и современные издания, иногда можно было увидеть и заверну-

тую в бумажку книгу, привезённую "оттуда"...

Я помню Тимура в нашей молодости, красивого молодого человека. Не зная, что он таджик по национальности, я воспринимал его европеизированным красавцем, актёром из голливудских фильмов. Но когда я с ним поговорил первый раз, то понял сразу, что у этого человека удивительно тонкая душа. В наше время была модной ориентация на известных журналистов-международников, представителей киноэкспорта, всех, кто выезжал за границу, мог общаться с мировой культурой... Я благодарен судьбе, что много лет провёл в кафе "Националь", встретив немало интересных людей. Кто главный был в "Национале"? Олеша и круг его друзей, приехавших в Москву из Одессы. И считалось для нас обязательным с почтением слушать всё это. Знаете, когда человек говорит: "А мы с Булгаковым поговорили, мы с Платоновым встретились..." Конечно, мы сидели, как галчата, открыв рты, слушали все эти выступления. И я помню, как заслушивались журналистами типа Мелора Стурца, писателем Юлианом Семёновым, Боровиком, всеми этими выпускниками Института международных отношений или других престижных вузов...

Я уже тогда начал понимать, что им абсолютно безразлична была глубинная история той страны, в которой мы живём. Рано оказавшись в провинции, в настоящей России, начав делать выставки икон, портретов, богатого русского художественного наследия русского, почувствовал: модным

верхушкам неинтересно моё дело. А потом я близко сошёлся с людьми начала XX века, со своими учителями, вышедшими из многолетних гулаговских застенков, которые мне рассказывали о настоящей русской культуре, о Розанове, Леонтьеве, Хомякове, помогали глубже понять Достоевского и Толстого. Благодаря им я разобрался, что за люди определяли тогдашнюю систему. Они клялись на радио, в газетах, по телевидению Америку и Запад, а сами привозили вагонами в Москву иностранные вещи и напитки. Юлиан Семёнов гордо заявлял: "Мой папа, Семён Ляндрес, был секретарём Бухарина!" И считалось, что Семёнов уже чуть ли не диссидент, раз так близок к ленинскому любимчику! А я уже тогда прочитал, что Бухарин буквально ненавидел великих Тютчева, Есенина, и люди, воспевающие его, готовят нехорошие дела для нашей страны. В более взрослом возрасте, общаясь с различными "модными" писателями, поэтами, художниками, пригласив к себе на выставки, — я видел, что им была неинтересна подлинная русская культура, неинтересно, что я плотно общаюсь со Львом Николаевичем Гумилёвым, и когда мне удалось в Центральном Доме художников организовать уникальный вечер моего учителя и в зале собралась тысяча человек, "модные" или не пришли на эту встречу, а если пришли, то с нетерпением ждали, когда же всё это закончится и можно будет наконец выпить. Однажды устроил я у себя в мастерской встречу Льва Николаевича с этими "модными". Они сами себя зачислили в диссиденты — получая государственные зарплаты,

награды и живя бедно! Лев Николаевич меня предупредил: "Савва, вы зря их приглашаете. Они со мной разговаривать не станут, потому что они меня не любят и всегда старались стравливать меня с моей матерью Анной Андреевной Ахматовой"...

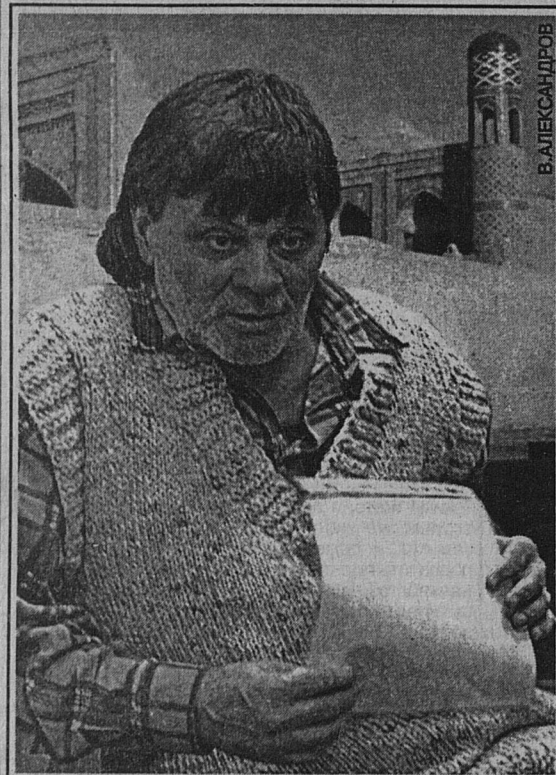
Я, честно говоря, очень жалею, что наши пути с Тимуром как-то разошлись, и я долго не знал, чем же он занимается. Когда началась перестройка, когда разделилась наша писательская, творческая интеллигенция на два лагеря, я стал постоянно читать патриотические газеты, увидел там стихи и выступления Тимура, и понял, что в молодые годы в нём были заложены те же сомнения, что и во мне. Это человек, ищущий свои пути и воплощающий их в замечательной поэзии. За пару дней прочитал я замечательный томик, вышедший в "Молодой гвардии", — "Лазоревый странник". Причём прочитал в Суздале, и это место оказалось самым подходящим для восприятия поэмы и стихотворений Тимура! Читаю русские страницы его поэзии — а за окошком Рождественский собор, суздальские пейзажи и старые дома... Почти всю свою жизнь прожил я в Суздале, Пскове, Новгороде — и теперь понял, что Тимур ходил где-то рядом, потому что так описать эту мою Белую Русь может только человек, который не просто приехал, на один раз, — а оставил здесь частичку своего сердца...

В наше время, когда идёт тяжёлый разговор о национальных разборках, поэзия Тимура Зульфикарова — ответ на мелочность и суету, царящие вокруг национального вопроса. Никогда не мо-



жет быть глубокой разницы между Средней Азией и Русью. Недаром же Россию называют Евразией. Правда, сейчас многие на этом спекулируют... Если же исходить из постулатов, заложённых в сочинениях нашего замечательного философа Ивана Ильина, то я как раз считаю, что творчество Тимура — это то самое евразийство, о котором говорил Ильин, о котором писал Достоевский и лучшие наши писатели, наши славянофилы того времени, которые ни в коем случае не были квантными патриотами. Каждый славянофил наш настолько прекрасно знал и Восток, и Запад, что мог говорить о самосознании русском. Потому что просто кричать: "Я русский, я патриот!" — это, к сожалению, приводит не просто к искажению наших отношений и места, отведённого Богом для России в мироздании, но грозит ещё и обеднением самого понятия "русскости" — именно за такой патриотизм нас и тычут носом в тарелку.

Я благодарен судьбе за то, что она мне по-новому открыла Тимура Зульфикарова и его творчество.



Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ:

«ПОЭЗИЯ - ИСКУССТВО ЛЕБЕДИНОЕ»

Завтра - 2008 - Дек. (№ 50) - с. 8

Савва ЯМЩИКОВ. Тимур, я тебе, как и всем своим собеседникам, задам два вопроса. Большая часть жизни прожита, и мне хочется, чтобы ты сказал: в твоей очень своеобразной жизни что ты считаешь самым главным?

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ. Одинокий поэт в империи склад тех, кто может помочь ему выйти на то, что Пушкин называл "любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой"... "Тайную свободу" давала только великая империя. "Тайная свобода" родила пирамиду Хеопса, иконопись Рублёва, храмы Индии, пагоды Китая, великие гимны Бханапады, Махабхарату. Она вдохновила и автора "Слова о полку Игореве". То есть империи создают величайшее искусство. А демократии создают потребительство, нечто скоропортящееся.

Как ни странно, художнику нужно катакомбное существование. Как сказано в молитве: "хожди среди сетей многих". Вот я вспоминаю, среди каких сетей ходил в Литературном институте... Вся наша жизнь была сквачена ужом перед КГБ, это всё существовало — но именно этот ужас и создавал чудовищную внутреннюю свободу в художнике. Он или разрушался, или погибал, или спивался — или творил великие вещи в искусстве.

Что такое мой роман "Омар Хайям"? О самом Омаре Хайяме ничего неизвестно. Меня интересовала только одна тема — поэт и империя, тиран и империя, великая власть и ничтожный человек, — муравей, ползущий по пирамиде Хеопса. Эти противоречия и привели к созданию моих главных, фундаментальных произведений. Когда немецкая переводчица осилила мой роман, она сказала: "Если империя позволила создать такое произведение, да ещё и напечатать — значит, империя скоро погибнет". Империя, которую мы, глупцы, проклинали. Но настоящая художник прокликает любую власть. Такова, собственно, задача интеллигенции — она должна протестовать любой власти. Самое гнусное в мире — это интеллигенция, которая тешишь власть, которая поощряет её, которая угождает... Вот это, я думаю, явление печальное.

Главное в творчестве писателя, поэта — это, конечно, его творчество. Как сказала Ахматова: "поэзия выше судьбы". Я бы сказал, что поэзия выше и жизни, она выше смерти. Она уступает только религии.

Что касается нашей общей молодости, наших прекрасных встреч — я не понимаю, почему люди должны отсечь своё прошлое, почему нас заставляют проклинать наше прошлое? Даже люди, которые сидели в концлагерях, в гетто, в тюрьмах, — они всё равно на эти места возвращаются: там была их жизнь, их трагедия и какие-то маленькие радости! А жизнь в империи, если посмотреть наши ковчеги, наши гостевания, наши поездки друг к другу, наши республиканские — разве это можно сравнить с тем, что мы имеем сейчас?

Что мы имеем в результате перестройки? Мы имеем миллионы несчастных людей. Мы все несчастны — и те, кто роется в мусорных ящиках, и те, кто проносится в дорогих автомобилях. Вот я сейчас шёл, видел, копаются бомжи — у них потрясающие руки, эти руки, которые могли бы творить, им просто не дают работы! Когда власть относится к народу, как к нищему, она бросает ему милостыню — не даёт ему работу, лишает смысла жизни.

Если говорить о политике, я писал письмо Путину, которое читали в церквях; я даже — как голговетский сумасшедший — писал письма алжирскому бою, писал письма Бушу. Я прекрасно понимаю, что президенты не будут читать мои письма, но я хотел сформулировать очень простым словом то, что думает огромное количество людей. И мне это удалось, судя по огромной реакции.

Самое поразительное, что сейчас в стране царит голод. Я человек пожилой, я помню, как во время войны ел жмых, уголь, акацию, кору дубовых — и вот интересно, что сейчас мой рот, мои зубы, гортаны стали вспоминать эту страшную еду, я стал вспоминать голод! И ведь у нас процентов девяносто людей просто голодные! Когда мне говорят: ну, ты, мол, завернул, — я отвечаю: "Я сам последние пять-шесть лет живу полуголодной жизнью!" Правда, у меня есть печальная радость, потому что это мне позволяет быть с моим народом. Голодным народом. Я его понимаю. Хочу я или не хочу, но я нахожусь на уровне той же голодухи, что и мой народ. И мой русский народ — народ моей матери и мой таджикский народ — народ моего отца...

Но этот голод не объявлен. Сталин говорил: "Нет человека — нет проблемы". А сейчас гораздо тоньше: нет информации о человеке — и его нет; нет информации о великой литературе — и её нет; о великой музыке — и её нет! В стране всё заросло бурьяном, бурьян уже идёт на Москву, у власти нет ни одной государственной идеи!

С.Я. Тимур, я тебя сейчас слушаю и вспоминаю, как быстро всё произошло!..

Ещё четверть века назад, помню, мы собирали всеобщую выставку реставрации, и после Ташкента я полетел в Душанбе к моему другу, художнику Володе Серебровскому, вспоминаю тот Душанбе: сел самолёт, тёплый вечер, встречает меня Володя, едем в его дом, где он окружен (мы все называли это "платоническим гаремом") девушками, которые его обожают, готовят для него вегетарианскую пищу, и вот эти несколько дней, проведённых в Душанбе, — я ни на минуту не почувствовал, что нахожусь в мире восточном! Я чувствовал себя как будто приехал в Новгород — только погода другая, фрукты другие, орнаменты другие.

И ведь также, когда я готовил Всеобщую выставку реставрации, я объехал все республики. Ну, с Узбекистаном я вообще связан, потому что у меня жена узбечка наполовину. И поездки в Ташкент, и к матери её, и с её гастролями балетными — это для меня были праздники! А как я любил бывать в Тбилиси! Как любил бывать в Ереване, в Таллине! Вот говорили, эстонцы к нам плохо относятся... И как быстро падение произошло!

Можно ли было четверть века назад найти бомжа в Душанбе, в Москве? Это разрушение готовилось; "модные" люди, о которых я говорил, — это они подготовили перестройку, их сразу взяли в услужение Горбачёв и Ельцин. Ведь Горбачёв не прислушивался ни к Зульфикарову, ни к Ямщикову, ни к Распутину, ни к Курбатову, ни к Белову — он прислушивался к Коротичу, к Евтушенко! Как они все тогда завопили: "Мы победили! Мы победили!"

Я видел команду телевизионную, когда она приехала в "Останкино" менять начальство на Егора Яковлева. Они декларировали: "Мы победили!" Но они победили не во имя того, чтобы не было бомжей — они просто хапнули то, что принадлежало другим.

Тимур, я хочу тебе задать вопрос. Невостребованность этими людьми твоей поэзии, моих дел, очерков Курбатов, деятельности Володи Толстого в Ясной Поляне — как ты считаешь, от чего это идёт?

Т.З. Мы с тобой на эту тему говорили. Судьба реформатора в литературе, искусстве, как ни грустно, всегда одна — и в 15 веке, когда весь шёл на лошадах, и в 21 веке... Всё решает весть, сообщение. Когда Спаситель пришёл в мир, всего было двенадцать апостолов, и сколько прошло времени, чтобы эта весть пришла к миру!..

У меня есть даже такое изречение: *Слух об убийцах, ворах, графоманах Мчится на спутниках и телеэкранах, Весть о великих мужах и делах Тащится, как и естарь, на седьих лошадах и ослах...*

Пушкин был реформатором русской поэзии, и нам кажется, что его судьба взорвалась, как бутылка шампанского: компания людей, которые понимали его поэзию, была весьма невелика. Следующим реформатором был Хлебников, его почитали и знали всего несколько десятков человек. Поэтому позволю себе сказать: всё-таки фундаментальная новация в области русской поэзии, которую, как мне кажется, удалось принести, привела к одиночеству моей литературы, моей поэзии и, как ни странно, к одиночеству среди литераторов, писателей, журналистов, музыкантов, то есть среди людей искусства.

В советское время, уже на склоне империи, в любой далёкой деревне, в селе, в городках были люди, которые любили мою литературу. А московский салон... Что такое московский салон — это ты прекрасно знаешь, ты и человек салона, и вне его, ты настолько эпический человек, что ворота салона мог отворить, потому что всё-таки ты москвич, вооружён, как редко кто, русской фундаментальной культурой, и салон не мог тебя не принять. А я провинциальная фигура — полу-

таджик, полурусский — салон ко мне относился скептически, и это продолжается до сегодняшнего дня. Но новая поэзия, которую я сотворил, всё равно проникает и идёт к людям. Хотя последние десять лет практически такой занавес замалчивания лежит и на моей поэзии и на творчестве Михаила Фёдоровича Ерёмкина. Это мой учитель. Мы все повинны перед Михаилом Ерёмкиным, мало о нём заявляем. Это выдающийся русский поэт, достойный самого высокого внимания.

Последние десять лет восстание сорняка идёт, и безвременье, разрушение иерархий. Не умеющие петь — поют. Не умеющие говорить — болтают в эфире. Не умеющие танцевать делают вид, что они танцуют. Не умеющие управлять делают вид, что они управляют. Атмосфера какого-то величайшего блефа! Но если мы будем молчать об этом блефе — мы все погибнем, потому что империи создаются словами, формулами, и разрушаются формулами. Ленин десятью формулами сотворил советскую империю, а Солженицын десятью формулами её разрушил. И если мы будем молчать и продолжим играть в этой пантомиме, нас уничтожат тогда Китай, Америка — мы сами себя уничтожим! Мы занимаемся самоуничтожением пятнадцать лет! Как говорят, что не осудили в России учителя, то есть святые отцы, а осудили ученики.

С.Я. Тимур, я вчера, готовясь к нашей встрече, перечитал любимые странички в сборнике твоём "Лазоревый странник". Прости, конечно, но меня больше за душу берёт то, что ты про Белую Русь пишешь. Естественно, и твои восточные мотивы мне тоже очень дороги, потому что форма у тебя одна, как говорится; — страсть, может быть, разная...

А потом я на ночь включил телевизор и кусочек посмотрел этого пресловутого вручения призов телевизионных. И я понял: сейчас и намёка нет на империю. Сейчас самая страшная фаза, окончание Октябрьской революции — фаза конца. Вот они все — как будто не произошло Беслана, как будто нет этих бомжей, — награждают свои примитивные создания.

Скажем, какого-нибудь поганца из "Намедни", который своей передачей подставил наших разведчиков в Катаре — они говорят, что он выдающийся. Они награждают Савика Шустера, который на "Свободе слова" открыто проповедовал ненависть к нашей стране.

И я подумал: Боже мой, какие же они нищие! Они в этом купаются, а ведь они не только не читали твою поэзию — они не прочли последнюю книгу Распутина, они не прочли ни одной книги Панарины. Мне один из "модных" экономистов, наших академиков, как-то, когда я ещё мало знал Панарина, сказал: "Ну, это так, бездоказательно". Книги Панарины — каждая его строчка — это ответы на наши вопросы! Это его понятие роли глобализации в христианском мире — удивительно современно! Либералы его не читают — они поют славу друг другу!

Тимур, мне интересно как человеку, проводящему большую часть жизни в Белой Русе, как ты, человек с восточным менталитетом, относишься к памятникам старой русской культуры? — к живописи, к архитектуре, к фрескам, иконам?

Т.З. Древнее искусство Руси — иконы, гимны, летописи, песни, русская изба, русская одежда... С некоторым пор, со времён Достоевского, Чехова о России и русском искусстве на Западе возникло мнение, что это нечто надурванное, болезненное, двусмысленное, серое, унылое. Но я придерживаюсь того мнения, что русское искусство — это хвост павлина, это великая византийская вспышка, радость.

Меня поразило, когда я открыл русское разнотравье... Великие птицы — журавли, соловьи — прилетают сюда, на Русь, они здесь рождаются, живут, здесь их детство. То же и русская икона — польханые райских цветов. Я служу византийскому павлиньему хвосту. Русский костюм, русская еда...

Мы многое утратили из того, о чём Спаситель сказал после Воскресения: "Радуйтесь!" Вот это великое чувство радости, величайшей красоты, которую Господь опрокинул на русскую землю, великие святые русские, как Бог, не могут быть поругаемы.

Я не смотрю телевизор, мой герой, Ходжа Насреддин, сказал по поводу телевидения: "Останкинская телевышка — это зубочистка во рту гнилой власти". И второе изречение: "Это гигантский шампур, на котором обжариваются все лучшие люди России. Нестерпим дух горящей правды!"

Вчера на ТВ была дискуссия о Толстом. Как ты полагаешь, разрешили бы итальянцы проводить такую же дискусию о Данте, и чтобы кто-нибудь заявил, что Данте — графоман?

С.Я. Я смотрел эту передачу. Это люди, которые умеют говорить, но им до Толстого — как им до столба, мимо которого вчера прошёл — они отменно, изошённо говорят, но Толстой им чужд — они слушают только себя.

Т.З. Это всё равно, что ты бы подошёл к пирамиде Хеопса и начал что-то своё архитектурное изречь. Какие-то есть вещи, перед которыми человек должен неметь. Это всё разговоры пешеходов об Эвересте.

У меня однажды были с осетинского телевидения два прекрасных молодых репортёра, я им дал большое, часовое интервью. И потом меня поразили чистота и красота их, я сказал: "От вас веет альпийской чистотой". Когда-то Пастернак, когда я был молодым мальчишкой, сказал: "От Тимура идут волны мужской чистоты". Услышав, что от них пахнет альпийским снегом, осетины заулыбались, а один сказал: "Я брал Эверест".

С.Я. Когда я читаю твои поэмы на древнерусском материале, то понимаю: твоё новаторство не состоялось, если бы ты не принял в душу Ферапонтов, Покров на Нерли, Псков, как мы их принимаем... Если я хотя бы раз в году не стою у храма Покрова на Нерли, я не мыслю свою жизнь полной. Я обычно весной, в День Победы, еду в Суздаль и на обратном пути обязательно на паруртуй часов останавливаюсь у Покрова на Нерли. И когда я стою там, меня потом уже тянет и во-

Псков, и в Кижи...

Т.З. Икона на Руси раньше появилась, она значительно опережает русскую поэзию. Потому что русская поэзия возникла где-то двести, триста — ну, четыреста лет назад. А икона две тысячи лет — ещё апостол Лука писал... Мне сказала одна глубоко православная женщина: "Ваша поэзия впервые начинает наступать икону в слове". Всегда художники говорят: "Живопись выше, старик!" Нет, выше, конечно, Слово! Но в России икона слово обошла и практически у нас не было православной поэзии — у нас была духовная. У Пушкина — пять-шесть стихотворений. У Тютчева, у Есенина. Но самой православной поэзии — не было.

С.Я. Глубоко и серьёзно запали мне в душу твои строки, когда я их по-настоящему в Суздале впервые читал, — я же этот материал знаю, как свою дочку, как знал свою маму — это же моя жизнь, моя профессия. И когда я эти образы, облёблённые твоей своеобразной, новой формой, считывал — я понимал, что значительность того, что ты пишешь, зиждется на познании иконы, архитектуры. Не на том, что ты изучил, в каком веке здание построено, в каком веке Дионисий написал своё "Распятие", это дело искусствоведов — знать всё дотошно, как архивариусам — но они в тебя проникли! Я, честно говоря, даже по-хорошему тебе позавидовал — вроде ты человек далёкий от этого — и подумал: "Боже мой, побольше бы было таких людей, которые бы это понимали! И побольше бы эти люди говорили! И поскорее бы они смели всю погань, которая нам преподносится!"

Правильно твой герой сказал про телевидение, но ведь в той империи, которую мы с тобой вспоминаем, были передачи, когда нам, несмотря на жесточайшие запреты, давали рассказывать об иконах, о русских портретах, о творчестве Ефима Честнякова! Ты пойдёшь сейчас заикнись о Ефиме Честнякове, который тоже, я считаю, величайший реформатор в русской живописи! Мы его открыли покалели всюду — слова про него сказать не дадут! А ведь это то, чем человек может питаться, так же, как он может питаться твоими стихами.

Т.З. Когда люди путешествуют сейчас по Руси, многие мне звонят и говорят: "Странно, стихи твои запомнить невозможно, но они возникают. Как колокольный звон, длинные периоды, эти строки, это ощущение — иконы, забытые церквушки, заброшенные деревни. Эти все миры возникают". Это Есенин начал писать деревню и Рубцов, замечательный поэт... Но как сказал замечательный писатель и мой учитель Стрижков, величайший знаток русской природы, каждой травинки, каждого зверька, он сказал: "Твоя поэзия рисует небесную Русь, неземную". Почему, кстати, одинока моя поэзия — потому что всё-таки наше искусство утончилось натурализме. Есть курица, которая идёт на суп, на еду, без неё мы не можем жить. Это куриная жизнь. Но есть ещё лебединая охота. Есть поэзия, искусство лебединого; Гоголь, Пушкин — искусство лебединое; Толстой — как-то между... Но небесное искусство — его не любят. Курицы не любят журавлей, лебедей.

С.Я. Ты сейчас сказал о поэзии, посвящённой деревне, о литературе нашей... И правильно сказал, что всё начиналось Словом и Словом кончается, и со Слова снова возрождается. Вчера мой замечательный друг из Лондона, любящий Россию по-настоящему англичанин, спросил: "Савва, что самое страшное сейчас у вас? Мы понимаем, что у вас преследуют сейчас что-то страшное, мы любим вашу страну, мы не политики — мы любим русских!" Он уже знает всё, видел бомжей, когда приехал с другом из Франции в Москву... Они молодые люди, внимательные... Я сказал: "Самое страшное — то, что практически умерла деревня". Это значит — умерла земля. Спорят о том, кому покупать землю! Некому покупать землю, обрабатывать её некому. Могут купить только жулики, которые её перепродают. И вот та поэзия, та литература, о которой ты сказал, — это наша единственная надежда на выживание, как ни странно. Это слово памяти и память Слова.

Тимур, я хочу тебе спросить: что бы тебе больше всего хотелось в отпущенные тебе Богом годы сделать в своей жизни?

Т.З. Мне бы хотелось, чтобы заколосились наши поля, чтобы ушёл бурьян, чтобы задышала земля. Причём это несложно сделать!

Я ехал в поезде с мужиком русским молодым, и говорю ему: "Посмотри — бурьян!" Он говорит: "Ну и что, так и должно быть". Правильно, потому что в головах бурьян. Вот если из голов уйдёт бурьян — люди начнут действовать. Блок сказал: "Когда же заколосится нива?" А иначе начнётся прямой голод, мы просто погрём с голоду! Я просто физически это ощущаю — это надвигается. Это может произойти очень быстро.

Так что если говорить об этом, то мой предки русские — они из деревни Яжелбицы, села в Новгородской области. Как-то я с другом ехал на машине, ночью мы остановились в этом селе, и старуха наполнила нас водой и угостила печным хлебом старинным. И когда я приехал в Петербург, там меня матушка ждала, Царство ей Небесное. Я ей говорю: "Какая дорога красивая!" А она говорит: "Скажи, а вы не проезжали там деревню Яжелбицы? Это родина моей матери!". Может, эта старуха родственница моя была... Вот так позвала меня деревня.

Я хотел бы, конечно, увидеть собрание своих сочинений, всё, что мне за пятьдесят лет трудов удалось сотворить — хотелось бы увидеть как итог жизни... Вот, собственно говоря, такие две идеи, выходящие одна из другой. Я бы с удовольствием пожертвовал своим шеститомником, если бы какое-то поле от этого заколосилось.

С.Я. Тимур, зная твой характер, зная твою увлечённость поэзией, делом, которому ты служишь, я всё-таки уверен, что шеститомник выйдет, и я буду с тобой радоваться, когда он увидит свет. Но я думаю, и все, что любит твою поэзию, надеются, что ты последнее слово не сказал, и мы будем ждать этого слова — чтобы оно было не последним, а продолжающимся. Я от всей души желаю тебе, чтобы Бог осенял тебя и впредь чистыми видениями.